

*Посвящаю эту повесть всем ее друзьям,  
кто принял как свое личное это бесприютное дитя  
литературы и не дал ее автору впасть в отчаяние*

Это слово возникло само по себе, как рождается в поле ветер.

Возникло, прошелестело, пронеслось по ближним и дальним закоулкам детдома: «Кавказ! Кавказ!» Что за Кавказ? Откуда он взялся? Право, никто не мог бы толком объяснить.

Да и что за странная фантазия в грязненьком Подмоскovie говорить о каком-то Кавказе, о котором лишь по школьным чтениям вслух (учебников-то не было!) известно детдомовской шантрапе, что он существует, верней, существовал в какие-то отдаленные непонятные времена, когда палил во врагов чернородый, взбалмошный горец Хаджи Мурат, когда предводитель мюридов имам Шамиль оборонялся в осажденной крепости, а русские солдаты Жилин и Костылин томились в глубокой яме.

Был еще Печорин, из лишних людей, тоже ездил по Кавказу.

Да вот еще папиросы! Один из Кузьмёнышей их углядел у раненого подполковника из санитарного поезда, застрявшего на станции в Томилине.

На фоне изломанных белоснежных гор скачет, скачет в черной бурке всадник на диком коне. Да нет, не скачет, а летит по воздуху. А под ним неровным, угловатым шрифтом название: «КАЗБЕК».

Усатый подполковник с перевязанной головой, молодой красавец, поглядывал на прехорошенькую медсестричку, выскочившую посмотреть станцию, и постукивал многозначительно ногтем по картонной крышечке папирос, не заметив, что рядом, открыв от изумления рот и затаив дыхание, воззрился на драгоценную коробочку маленький оборвыш Колька.

Искал корочку хлебную, от раненых, чтобы подобрать, а увидел: «КАЗБЕК»!

Ну а при чем тут Кавказ? Слух о нем?

Вовсе ни при чем.

И непонятно, как родилось это остроконечное, сверкнувшее блестящей ледяной гранью словцо там, где ему невозможно родиться: среди детдомовских будней, холодных, без дровинки, вечно голодных. Вся напряженная жизнь ребят складывалась вокруг мерзлой картофелинки, картофельных очистков и, как верха желания и мечты, — корочки хлеба, чтобы просуществовать, чтобы выжить один только лишний военный день.

Самой заветной, да и несбыточной мечтой любого из них было хоть раз проникнуть в святая святых детдома: в ХЛЕБОРЕЗКУ, — вот так и выделим шрифтом, ибо это стояло перед глазами детей выше и недосягаемей, чем какой-то там КАЗБЕК!

А назначали туда, как Господь Бог назначал бы, скажем, в рай! Самых избранных, самых удачливых, а можно определить и так: счастливейших на земле!

В их число Кузьмёныши не входили.

И не было в мыслях, что доведется войти. Это был удел блатяг, тех из них, кто, сбежав от милиции, царствовал в этот период в детдоме, а то и во всем поселке.

Проникнуть в хлеборезку, но не как те, избранные, — хозяевами, а мышкой, на секундочку, мгно-

веньице, — вот о чем мечталось! Глазком, чтобы наяву поглядеть на все превеликое богатство мира в виде нагроможденных на столе корявых буханок.

И — вдохнуть, не грудью, животом вдохнуть опьяняющий, дурманящий хлебный запах...

И всё. Всё!

Ни о каких там крошечках, которые не могут не оставаться после сваленных, после хрупко трущихся шершавыми боками бухариков, не мечталось. Пусть их соберут, пусть наслаждаются избранные! Это по праву принадлежит им!

Но, как ни притирайся к обитым железом дверям хлеборезки, это не могло заменить той фантазмагорической картины, которая возникала в головах братьев Кузьминых, — запах через железо не проникал.

Проскочить же законным путем за эту дверь им и вовсе не светило. Это было из области отвлеченной фантастики, братья же были реалисты. Хотя конкретная мечта им не была чужда.

И вот до чего эта мечта зимой сорок четвертого года довела Кольку и Сашку: проникнуть в хлеборезку, в царство хлеба любым путем... Любым.

В эти особенно тоскливые месяцы, когда мерзлой картофелины добыть невозможно, не то что крошки хлеба, ходить мимо домика, мимо железных дверей не было сил. Ходить и знать, почти картинно представлять, как там, за серыми стенами, за грязненьким, но тоже зарешеченным окном ворожат избранные, с ножом и весами. И кромсают, и режут, и мнут отвалистый сыроватый хлебушек, ссыпая теплые солоноватые крошки горстью в рот, а жирные отломки приберегая пахану.

Слюна накипала во рту. Схватывало живот. В голове мутнело. Хотелось завывать, закричать и бить, бить в ту железную дверь, чтобы отперли, открыли, чтобы

поняли наконец: мы ведь тоже хотим! Пусть потом в карцер, куда угодно... Накажут, избыют, убьют... Но пусть сперва покажут, хоть от дверей, как он, хлеб, грудой, горой, Казбеком возвышается на искромсанным ножами столе... Как он пахнет!

Вот тогда и жить снова станет возможным. Тогда вера будет. Раз хлебушко горой лежит, значит мир существует... И можно терпеть, и молчать, и жить дальше.

От маленькой же паечки, даже с добавком, приколотым к ней щепкой, голод не убывал. Он становился сильнее.

Однажды глупая учительница стала читать вслух отрывок из Толстого, а там стареющий Кутузов во время войны ест цыпленка, с неохотой ест, чуть ли не с отвращением разжевывая жесткое крылышко...

Ребятам такая сцена показалась уж очень фантастической! Напридумывают тоже! Крылышко не пошло! Да они бы тотчас за косточку обглоданную от того крылышка побежали бегом куда угодно! После такого громкого чтения вслух еще больше животы скрутило, и они навсегда потеряли веру в писателей: если у них цыпленка не жрут, значит писатели сами зажрались!

С тех пор как прогнали главного детдомовского урку Сыча, много разных крупных и мелких блатяг прошло через Томилино, через детдом, свивая вдали от родимой милиции тут на зиму свою полумалину.

В неизменности оставалось одно: сильные пожирали всё, оставляя слабым крохи, мечты о крохах, забирая мелкосню в надежные сети рабства.

За корочку попадали в рабство на месяц, на два.

Передняя корочка, та, что поджаристей, черней, толще, слаще, стоила двух месяцев, на буханке она

была бы верхней, да ведь речь идет о пайке, крохотном кусочке, что глядится плашмя прозрачным листиком на столе; задняя — побледней, победней, потоньше — месяца рабства.

А кто не помнил, что Васька Сморчок, ровесник Кузьмёньшей, тоже лет одиннадцати, до приезда родственника-солдата как-то за заднюю корочку прислуживал полгода. Отдавал все съестное, а питался почками с деревьев, чтобы не загнуться совсем.

Кузьмёньши в тяжкие времена тоже продавались. Но продавались всегда вдвоем.

Если бы, конечно, сложить двух Кузьмёньшей в одного человека, то не было бы во всем Томилинском детдоме им равных по возрасту, да и, возможно, по силе.

Но знали Кузьмёньши и так свое преимущество.

В четыре руки тащить легче, чем в две; в четыре ноги удирать быстрее. А уж четыре глаза куда вострей видят, когда надо ухватить где что плохо лежит!

Пока два глаза заняты делом, другие два сторожат за обоих. Да успевают еще следить, чтобы у самого не тяпнули бы чего, одежду, матрац исподнизу, когда спишь да видишь свои картинки из жизни хлебoreзки! Говорили же: чего, мол, хлебoreзку раззявил, если у тебя у самого потянули!

А уж комбинаций всяких из двух Кузьмёньшей не счесть! Попался, скажем, кто-то из них на рынке, тащат в кутузку. Один из братьев ноет, вопит, на жалость бьет, а другой отвлекает. Глядишь, пока обернулись на второго, первый — шмыг, и нет его. И второй следом! Оба брата как вьюны верткие, скользкие, раз упустил, в руки обратно уже не возьмешь.



Глаза увидят, руки захапаяют, ноги унесут...

Но ведь где-то, в каком-то котелке все это должно заранее свариться... Без надежного плана: как, где и что стырить, — трудно прожить!

Две головы Кузьмёнышей варили по-разному.

Сашка, как человек мирозерцательный, спокойный, тихий, извлекал из себя идеи. Как, каким образом они возникали в нем, он и сам не знал.

Колька, оборотистый, хваткий, практичный, со скоростью молнии соображал, как эти идеи воплотить в жизнь. Извлечь, то бишь, доход. А что еще точней: взять жрать.

Если бы Сашка, к примеру, произнес, почесывая белобрысую макушку, а не слетать ли им, скажем, на Луну, там жмыху полно, Колька не сказал бы сразу: «Нет». Он сперва обмозговал бы это дельце с Луной, на каком дирижабле туда слетать, а потом бы спросил: «А зачем? Можно спереть и поближе...»

Но, бывало, Сашка мечтательно посмотрит на Кольку, а тот, как радио, выловит в эфире Сашкину мысль. И тут же скумекает, как ее осуществить.

Золотая у Сашки башка, не башка, а Дворец Советов! Видели братья такой на картинке. Всякие там американские небоскребы в сто этажей ниже под рукой стелются. Мы-то самые первые, самые высокие!

А Кузьмёныши первые в другом. Они первые поняли, как прожить им зиму сорок четвертого года и не околеть.

Когда революцию в Питере делали, небось, кроме почты и телеграфа да вокзала, и хлеборезку не забыли приступом взять!

Шли мимо хлеборезки братья, не первый раз, кстати. Но уж больно невтерпеж в этот день было! Хотя такие прогулки свои мученья добавляли.

«Ох, как жрать-то охота... Хоть дверь грызи! Хоть землю мерзлую под порогом ешь!» — так вслух произнеслось. Сашка произнес, и вдруг его осенило. Зачем ее есть, если... Если ее... Да, да! Вот именно! Если ее копать надо!

Копать! Ну конечно копать!

Он не сказал, он лишь посмотрел на Кольку. А тот в мгновение принял сигнал, и, вертанув головой, все оценил, и прокрутил варианты. Но опять же ничего не произнес вслух, только глаза хищно блеснули.

Кто испытал, тот поверит: нет на свете изобретательней и нацеленней человека, чем голодный человек, тем паче если он детдомовец, отрастивший за войну мозги на том, где и что достать.

Не молвив ни словца (кругом живоглоты, разнесут, и кранты тогда любой, самой гениальной Сашкиной идее), братья направились напрямиком к ближайшему сарайчику, отстоящему от детдома метров на сто, а от хлебoreзки метров на двадцать. Сарайчик находился у хлебoreзки как раз за спиной.

В сарае братья огляделись. Одновременно посмотрели в самый дальний угол, где за железным никчемным ломом, за битым кирпичом находилась записка Васьки Сморчка. В бытность, когда хранились дрова, никто не знал, лишь Кузьмёныши знали: тут прятался солдат дядя Андрей, у которого оружие стянули.

Сашка спросил шепотом:

— А не далеко?

— А откуда ближе? — в свою очередь, спросил Колька.

Оба понимали, что ближе неоткуда.

Сломать замок куда проще. Меньше труда, меньше времени надо. Сил-то оставались крохи. Но было уже, пытались сбивать замок с хлебoreзки, не одним



Кузьмёнышам приходила такая светлая отгадка в голову! И дирекция повесила на дверях замок амбарный! Полпуда весом!

Его разве что гранатой сорвать можно. Впереди танка повесь — ни один вражеский снаряд тот танк не прошибет.

Окошко же после того неудачного случая зарешетили да такой толстенный прут приварили, что его ни зубилом, ни ломом не взять — автогеном если только!

И насчет автогена Колька соображал, он карбид заметил в одном месте. Да ведь не подтащишь, не зажжешь, глаз кругом много.

Только под землей чужих глаз нет!

Другой же вариант — совсем отказаться от хлеборезки — Кузьмёнышей никак не устраивал.

Ни магазин, ни рынок, ни тем более частные дома не годились сейчас для добычи съестного. Хотя такие варианты носились роем в голове Сашки. Беда, что Колька не видел путей их реального воплощения.

В магазинчике сторож всю ночь, злой старикашка. Не пьет, не спит, ему дня хватает. Не сторож — собака на сене.

В домах же вокруг, которых не счесть, беженцев полно. А жрать как раз наоборот. Сами смотрят, где бы что урвать.

Был у Кузьмёнышей на примете домик, так его в бытность Сыча старшие почистили.

Правда, стянули невесть чего: тряпки да швейную машинку. Ее долго потом крутила по очереди вот тут, в сарае, шантрапа, пока не отлетела ручка да и все остальное не рассыпалось по частям.

Не о машинке речь. О хлеборезке. Где не весы, не гири, а лишь хлеб — он один заставлял яростно в две головы работать братьев.

И выходило: «В наше время все дороги ведут к хлеборезке».

Крепость, не хлеборезка. Так известно же, что нет таких крепостей, то есть хлеборезок, которые бы не мог взять голодный детдомовец.

В глухую пору зимы, когда вся шпана, отчаявшись подобрать на станции или на рынке хоть что-нибудь съестное, стыла вокруг печей, притираясь к ним задницей, спиной, затылком, впитывая доли градусов и вроде бы согреваясь — известь была вытерта до кирпича, — Кузьмёныши приступили к реализации своего невероятного плана. В этой невероятности и таился залог успеха.

От дальней заначки в сарае они начали вскрышные работы, как определил бы опытный строитель, при помощи кривого лома и фанерки.

Вцепившись в лом (вот они — четыре руки!), они поднимали его и опускали с тупым звуком на мерзлую землю. Первые сантиметры были самыми тяжелыми. Земля гудела.

На фанерке они относили ее в противоположный угол сарая, пока там не образовалась целая горка. Целый день, такой пуржистый, что снег наискось несло, залепляя глаза, оттаскивали Кузьмёныши землю подальше в лес. В карманы клали, за пазуху, не в руках же нести. Пока не догадались: сумку холщовую школьную приспособить.

В школу ходили теперь по очереди и копали по очереди: один день долбил Колька и один день — Сашка.

Тот, кому подходила очередь учиться, два урока отсиживал за себя (Кузьмин? Это какой Кузьмин пришел? Николай? А где же второй, где Александр?), а потом выдавал себя за своего брата. Получалось, что

оба были хотя бы наполовину. Ну а полного посещения никто с них и не требовал! Жирно хотите жить! Главное, чтобы в детдоме без обеда не оставили!

А вот обед там или ужин, тот по очереди не дадут съесть, схавают моментально шакалы и следа не оставят. Тут уж они бросали копать и вдвоем в столовку как на приступ шли.

Никто не спросит, никто не поинтересуется: Сашка шамает или Колька. Тут они едины: Кузьмёныши. Если вдруг один, то вроде бы половинка. Но поодиночке их видели редко, да можно сказать, что совсем не видели!

Вместе ходят, вместе едят, вместе спать ложатся.

А если бить, то бьют обоих, начиная с того, кто в эту нескладную минуту раньше попадетсЯ.

## 2

Раскоп был в самом разгаре, когда вовсю пошли эти странные слухи о Кавказе.

Беспричинно, но настойчиво в разных концах спальни то тише, то сильнее повторялось одно и то же. Будто снимут детдом с их насиженного в Томилине места и скопом, всех до единого, перекинут на Кавказ.

Воспитателей отправят, и дурака-повара, и усатую музыкантшу, и директора-инвалида... («Инвалида умственного труда!» — произносилось негромко.)

Всех отвезут, словом.

Судачили много, пережевывали, как прошлогоднюю картофельную шелуху, но никто не представлял себе, как возможно всю эту дикую орду угнать в какие-то горы.

Кузьмёныши прислушивались к болтовне в меру, а верили и того меньше. Некогда было. Устремленно, неистово долбили они свои шурфы.

Да и что тут трепать, и дураку понятно: против воли ни одного детдомовца увезти никуда невозможно! Не в клетке же, как Пугачева, их повезут!

Сыпанут голодранцы во все стороны на первом же перегоне и лови, как воду решетом!

А если бы, к примеру, удалось кого из них уговорить, то никакому Кавказу от такой встречи несдобровать. Оберут до нитки, объедят до сучочка, по камешкам ихние Казбеки разнесут... В пустыню превратят! В Сахару!

Так решали Кузьмёныши и шли долбить.

Один из них железочкой ковырял землю, теперь она пошла рыхлая, сама отваливалась, а другой — в ржавом ведерке оттаскивал породу наружу. К весне уперлись в кирпичный фундамент дома, где помещалась хлеборезка.

Однажды сидели Кузьмёныши в дальнем конце раскопа.

Темно-красный, с синеватым отливом кирпич старинного обжига крошился с трудом, каждый кусочек кровью давался. На руках пузыри вздулись. Да и ломом таранить сбоку оказалось не с руки.

В раскопе было не повернуться, сыпалась за ворот земля. Выедала глаза самодельная коптилка в чернильном пузырьке, украденная из канцелярии.

Сперва-то была у них свечечка настоящая, восковая, тоже украденная. Но сами братья ее и съели. Не вытерпели как-то, кишки переворачивались от голода. Посмотрели друг на друга, на ту свечечку, мало-мало, но хоть что-нибудь. Рассекли надвое, да и сжевали, одна веревочка несъедобная осталась.

Теперь коптил тряпочный шнурочек: в стене раскопа был сделан выем — Сашка догадался — и оттуда мерцал синенько, свету было меньше, чем копоти.

Оба Кузьмёныша сидели, отвалившись, потные, чумазые, коленки подогнуты под подбородок.

Сашка спросил вдруг:

— Ну, что Кавказ? Трепятся?

— Трепятся, — отвечал Колька.

— Погонят, да? — Так как Колька не отвечал, Сашка опять спросил: — А тебе не хотелось бы? Поехать?

— Куда? — спросил брат.

— На Кавказ!

— А чево там?

— Не знаю... Интересно.

— Мне интересно вот куда попасть! — И Колька злобно ткнул кулаком в кирпич. Там в метре или двух метрах от кулака, никак не дальше, находилась заветная хлеборезка.

На столике, исполосованном ножами, пропахшем кисловатым хлебным духом, лежат бухарики: много бухариков серовато-золотистого цвета. Один краше другого. Корочку отломить — и то счастье. Пососешь, проглотишь. А за корочкой и мякиша целый вагон, щипай да в рот.

Никогда в жизни не приходилось еще Кузьмёнышам держать целую буханку хлеба в руках! Даже прикасаться не приходилось.

Но видеть видели, издалека, конечно, как в толкотне магазина отоваривали его по карточкам, как взвешивали на весах.

Сухопарая, без возраста, продавщица хватала карточки цветные: рабочие, служащие, иждивенские, детские, и, взглянув мельком — такой опытный глаз-ватерпас у нее — на прикрепление, на штампик на обороте, где вписан номер магазина, хоть своих небось



всех прикрепленных знает поименно, ножничками делала «чик-чик» по два, по три талончика в ящичек. А в том ящичке у нее тысяча, миллион этих талончиков с цифирьками 100, 200, 250 граммов.

Но каждый талон, и два, и три — только малая часть целой буханки, от которой продавщица экономно отвалит острым ножом небольшой кусок. Да и самой не впрок стоять рядом с хлебом-то — высохла, а не потолстела!

Но целую, всю как есть не тронутую ножом буханку, как ни смотрели в четыре глаза братья, никому при них из магазина не удавалось унести.

Целая — такое богатство, что и подумать страшно!

Но какой же тогда откроется рай, если бухариков будет не один, и не два, и не три! Настоящий рай! Истинный! Благословенный! И не нужно нам никакого Кавказа!

Тем более рай этот рядышком, уже бывают слышны через кирпичную кладку неясные голоса.

Хотя ослепшим от копоти, оглохшим от земли, от пота, от надрыва нашим братьям слышалось в каждом звуке одно: «Хлеб, Хлеб...»

В такие минуты братья не роют, не дураки небось. Направляясь мимо железных дверей, в сарай, лишнюю петлю сделают, чтобы знать, что пудовый тот замочек на месте: его за версту видать!

Только потом уже лезут этот чертов фундамент крушить.

Вот строили в древние времена, небось и не подозревали, что кто-то их за крепость крепким словом приложит.

Как доберутся Кузьмёныши, как откроется их очарованным глазам вся хлеборезка в тусклом вечернем свете, считай, что ты уже в раю и есть.

Тогда... Знали братья твердо, что случится тогда.  
В две головы продумано, небось не в одну.

Бухарик — но один — они съедят на месте. Чтобы не вывернуло животы от такого богатства. А еще два бухарика заберут с собой и надежно припрячут. Это они умеют. Всего три бухарика, значит. Остальное, хоть зудится, трогать не могли. Иначе озверелые пацаны дом разнесут.

А три бухарика — это то, что, по подсчетам Кольки, у них все равно крадут каждый день.

Часть для дурака-повара: о том, что он дурак и в дурдоме сидел, все знают. Но жрет вполне как нормальный. Еще часть воруют хлеборезчики и те шакалы, которые около хлеборезчиков шестерят. А самую главную часть берут для директора, для его семьи и его собак.

Но около директора не только собаки, не только скотина кормится, там и родственников и приживальщиков понапихано. И всем им от детдома таскают, таскают, таскают... Детдомовцы сами и таскают. Но те, кто таскает, свои крохи от таскания имеют.

Кузьмёныши точно рассчитали, что от пропажи трех бухариков шум по детдому поднимать не станут. Себя не обидят, других обделят. Только и всего.

Кому надо-то, чтобы комиссии от роно поперли (а их тоже корми! У них рот большой!), чтобы стали выяснять, отчего крадут, да отчего недоедают от своего положенного детдомовцы, и отчего директорские звери-собаки вымахали ростом с телят.

Но Сашка только вздохнул, посмотрев в сторону, куда указывал Колькин кулак.

— Не-е... — произнес он задумчиво. — Все одно интересно. Горы интересно посмотреть. Они небось выше нашего дома торчат? А?

— Ну и что? — опять спросил Колька, ему очень хотелось есть. Не до гор тут, какие бы они ни были. Ему казалось, что через землю он слышит запах свежего хлеба.

Оба помолчали.

— Сегодня стишки учили, — вспомнил Сашка, которому пришлось отсиживать в школе за двоих. — Михаил Лермонтов, «Утес» называется.

Сашка не помнил все наизусть, хоть стихи были короткие. Не то что «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова»... Уф! Одно название полкилометра длиной! Не говоря о самих стихах!

А из «Утеса» всего две строчки Сашка запомнил.

Ночевала тучка золотая  
На груди утеса-великана...

— Про Кавказ, что ли? — скучно поинтересовался Колька.

— Ага. Утес же...

— Если он такой же дурной, как этот... — И Колька сунул кулаком опять в фундамент. — Утес твой!

— Он не мой!

Сашка замолчал, раздумывая.

Он уже давно не о стихах думал. В стихах он ничего не понимал, да и понимать в них особенно нечего. Если на сытый желудок читать, может, толк и будет. Вон лохматая в хоре их мучает, а если бы без обеда не оставляли, они все давно бы из хора пятки намылили. Нужны им эти песни, стихи... Поёшь ли, читаешь — все одно о жратве думаешь. Голодной куме всё куры на уме!

— Ну и чего? — вдруг спросил Колька.

— Чево-чево? — повторил за ним Сашка.

- Чево он там, утес-то? Развалился аль нет?
  - Не знаю, — сказал как-то по-глупому Сашка.
  - Как — не знаешь? А стихи?
  - Чего стихи... Ну, там, эта... Как ее... Туча, значит, уперлась в утес...
  - Как мы в фундамент?
  - Ну, покемарила... улетела...
- Колька присвистнул.
- Все??
  - Все.
  - Ни фига себе сочиняют! То про цыпленка, то про тучу...

— А я-то при чем! — разозлился теперь Сашка. — Я тебе сочинитель, что ли? — Но разозлился не сильно. Да и сам виноват: размечтался, не слышал объяснения учительницы.

Он вдруг на уроке представил себе Кавказ, где все не так, как в их протухшем Томилине.

Горы размером с их детдом, а между ними повсюду хлебoreзки натыканы. И ни одна не заперта. И копать не надо, зашел, сам себе свешал, сам в себя поел. Вышел — а тут другая хлебoreзка, и опять без замка. А люди все в черкесках, усатые, веселые такие. Смотрят они, как Сашка наслаждается едой, улыбаются, рукой по плечу бьют. «Якши», — говорят. Или еще как! А смысл один: «Ешь, мол, больше, у нас хлебoreзок много!»

Было лето. Зеленела травка на дворе. Никто не провожал Кузьмёнышей, кроме воспитательницы Анны Михайловны, которая небось тоже не об их отъезде думала, глядя куда-то поверх голов холодными голубыми глазами.

Все произошло неожиданно. Намечалось из детдома отправить двоих, постарше, самых блатяг, но

они тут же отвалили, как говорят, растворились в пространстве, а Кузьмёныши, наоборот, сказали, что им хочется на Кавказ.

Документы переписали. Никто не поинтересовался — отчего они вдруг решили ехать, какая такая нужда гонит наших братьев в дальний край. Лишь воспитанники из младшей группы приходили на них посмотреть. Вставали у дверей и, указывая на них пальцем, произносили: «Эти!» И после паузы: «На Кавказ!»

Причина же отъезда была основательная, слава богу, о ней никто не догадывался.

За неделю до всех этих событий неожиданно рухнул подкоп под хлебoreзку. Провалился на самом видном месте. А с ним и рухнули надежды Кузьмёнышей на другую, лучшую жизнь.

Уходили вечером, вроде все нормально было, уже и стену кончали, оставалось пол вскрыть.

А утром выскочили из дома: директор и вся кухня в сборе, пялят глаза — что за чудо, земля осела под стеной хлебoreзки!

И — догадались: мама рóдная. Да ведь это же подкоп!

Под их кухню, под их хлебoreзку подкоп!

Такого еще в детдоме не знали.

Начали тягать воспитанников к директору. Пока по старшим прошлись, на младших и думать не могли.

Военных саперов вызвали для консультации. Возможно ли, спрашивали, чтобы дети такое сами прорыли?

Те осмотрели подкоп, от сарая до хлебoreзки прошли и внутрь, там, где не обвалено, залезали. Отряхиваясь от желтого песка, руками развели: «Невозможно, без техники, без специальной подготовки никак



невозможно такое метро прорыть. Тут опытному солдату на месяц работы, если, скажем, с шанцевым инструментом да вспомогательными средствами... А дети... Да мы бы к себе таких детей взяли, если бы взаправду они такие чудеса творить умели».

— Они у меня еще те чудотворцы! — сказал хмуро директор. — Но я этого чудесника-творца разыщу!

Братья стояли тут же, среди других воспитанников. Каждый из них знал, о чем думает другой.

Оба Кузьмёныша думали, что концы-то, если начнут допытываться, приведут неминуемо к ним. Не они ли шлялись тут все время; не они ли отсутствовали, когда другие торчали в спальне у печки?

Глаз кругом много! Один недоглядел и второй, а третий увидел.

И потом, в подкопе в тот вечер оставили они свой светильник и, главное, школьную сумочку Сашки, в которой землю таскали в лес.

Дохлая сумочка, но ведь как ее найдут, так и капут братьям! Все равно удирать придется. Не лучше ли самим, да спокойненько, на неведомый Кавказ отчалить? Тем паче — и два места освободилось.

Конечно, Кузьмёнышам не было известно, что где-то в областных организациях в светлую минуту возникла эта идея о разгрузке подмосковных детдомов, коих было к весне сорок четвертого года по области сотни. Это не считая беспризорных, которые жили где придется и как придется.

А тут одним махом с освобождением зажиточных земель Кавказа от врага выходило решить все вопросы: лишние рты спровадить, с преступностью расправиться да и вроде благое дело для ребятишек сделать.

И для Кавказа, само собой.

Ребятам так и сказали: хотите, мол, нажраться — поезжайте. Там все есть. И хлеб там есть. И картошка.

И даже фрукты, о существовании которых наши шакалы и не подозревают.

Сашка тогда сказал брату: «Хочу фруктов... Вот тех, о которых этот... который приезжал, говорил».

На что Колька отвечал, что фрукт — это и есть картошка, и он точно знает. А еще фрукт — это директор. Своими ушами Колька слышал, как один из саперов, уходя, произнес негромко, указывая на директора: «Тоже фрукт... От войны за детишками спасается!»

— Картошки наедемся! — сказал Сашка.

А Колька тут же ответил, что, когда шакалов привезут в такой богатый край, где все есть, он сразу бедным станет. Вон, читал в книжке, что саранча, куда меньше размером детдомовца, а когда кучей прет, после нее голое место остается. А живот у нее не как у нашего брата, она небось все подряд жрать не станет. Ей те самые непонятные фрукты подавай. А мы так и ботву, и листики, и цветочки сожрем...

Но ехать Колька все-таки согласился.

Два месяца тянули, пока отправили.

В день отъезда привели их к хлеборезке, не дальше порога, конечно. Выдали по пайке хлеба. Но наперед не дали. Жирные будете, мол, к хлебу едете, да хлеба им давать!

Братья выходили из дверей и на яму под стеной, ту, что осталась от обвала, старались не смотреть.

Хоть притягивала их эта яма.

Делая вид, что не знают ничего, мысленно простились они и с сумочкой, и со светильником, и со всем своим родным подкопом, в котором столько было ими прожито при коптилке длинных вечеров среди зимы.

С паечками в карманах, прижимая их рукой, прошли братья к директору, так им велели.

Директор сидел на ступеньках своего дома. Был он в галифе, но без майки и босиком. Собак, на счастье, рядом не было.

Не поднимаясь, он поглядел на братьев и на воспитательницу и только сейчас, наверное, вспомнил, по какому они тут случаю.

Покряхтывая, привстал, поманил корявым пальцем.

Воспитательница сзади подтолкнула, и Кузьмёныши сделали несколько неуверенных шагов вперед.

Хоть директор не рукоприкладствовал, его боялись. Кричал он громко. Ухватит кого-нибудь из воспитанников за ворот и во весь голос: «Без завтрака, без обеда, без ужина!..»

Хорошо, если один оборот сделает. А если два или три?

Сейчас директор вроде бы был настроен благодушно.

Не зная, как зовут братьев, да он никого в детдоме не знал, он ткнул пальцем в Кольку, приказал снять кургузый, весь залатанный пиджачок. Сашке он велел скинуть телогрейку. Эту телогрейку он отдал Кольке, а пиджачок его брату.

Отошел, посмотрел, будто сделал для них доброе дело. Остался своей работой доволен.

— Так-то лучше... — И добавил: — Ну, тово... Не бузите, не воруйте! Под вагон не лазьте, а то раздавит... А?

Воспитательница толкнула под локоть ребят, они разноголосо пропели:

— Не будем, Вик Вик-трыч!

— Ну, идите! Идите!

Разрешил, словом.

Когда отошли настолько, чтобы директор не мог видеть, братья снова поменялись одеждой.

Там, в карманах, лежали их драгоценные пайки.

Может, директору, который без понятия, они и показались бы одинаковыми! Ан нет! У нетерпеливого Сашки край корочки был отгрызен, а запасливый Колька только лизнул, есть он еще не начинал.

Хорошо, хоть штанами ни с кем из чужих не поменял. В манжетине Колькиных штанов лежала в полосочку свернутая тридцатка.

Деньги в войну невеликие, но для Кузьмёнышей они стоили многого.

Это была единственная их ценность, подпорка в неизвестном будущем.

Четыре руки. Четыре ноги. Две головы. И тридцатка.

### 3

Анна Михайловна, как ей было велено, довезла братьев на электричке до Казанского вокзала и сдала с рук на руки вместе с бумагами какому-то начальнику, лысоватому и в помятом костюме.

Звали его Петр Анисимович.

Он мельком оглядел братьев, отметил в списке, положил этот список в портфель, который не выпускал из рук, и пробормотал насчет одежды: мол, в Томилине могли бы, как предписано, выдать одежду и получше.

— Это ведь непонятно, что происходит, — вздохнул он.

А Кузьмёныши только сейчас сообразили, отчего томилинский директор обменял так странно их ватником да курткой, наверное, он прикрывал свою совесть от упреков. Если она была...

Размахивая портфелем, Петр Анисимович повел братьев вдоль состава к передним вагонам.

К нему подбегали какие-то люди с мешками, с вещами, жаловались, что не могут уехать на родину, просили помочь, пристроить хоть как-нибудь...

Петр Анисимович всем отвечал одинаково: «Нет, нет. Не могу».

А один раз вспылел, закричал:

— Да что у меня, богадельня, что ли! Это ведь непонятно, что происходит! У меня полтыщи беспризорных, я не знаю, куда их посадить! — При этом он указал почему-то на Кузьмёнышей.

Слово «посадить» им не очень понравилось, но они промолчали.

Повсюду, где они проходили, высывались уже из окошек головы.

Вновь прибывающим кричали, свистели, улюлюкали, особенно когда узнавали кого-то из знакомых по рынкам, по станциям, где вместе ошивались, по кутузкам, где отсидивали...

Кузьмёнышей уже углядели, узнали, понеслось громко вслед:

— Томилинская вошь, куда ползешь? Под кровать — дерьмо клевать!

Братья заняли полки, самые верхние, третьи, и, не медля, бросились к окну, всовывая свои головы между чужими.

Увидели, что подводят люберецких, с которыми не только встречались, но и враждовали, и даже дра-



лись, и вслед за остальными загикали, засвиристели кто во что горазд.

— Люберецкая вошь — куд-да-да пол-зешь, под кровать...

Так встречали потом люблинских, можайских (эти головорезы!), серпуховских, подольских, волоколамских, мытищинских (эти все из детприемника, такие паиньки, такие тихарики, но обкрадут — и не заметишь!), ногинских, раменских, коломенских, каширских, орехово-зуювских...

Но хуже всех — московских.

Последние были как бы привилегированными, их и кормили лучше, и одеты они были не в такое тряпье, как областные.

Московским завопил весь эшелон так, что не стало слышно звонков трамваев на Каланчевке.

Заревели, завыли, заблеяли, замычали.

Орали до самой темноты, встречая новые и новые партии своих братьев.

- Мытищинские — через забор дрищенские!
- Эй, Можай, дальше поезжай!
- Кашира — протухла, не жила!
- Орехово-Зуево — раздето-разуево!
- Коломна всегда голодна!

Нас побить, побить хотели  
Загорские ежики,  
А мы сами не стерпели  
Наточили ножики!

Хором орали частушку, но зла в словах не было. Орали скорее по привычке.

Поезд, как ковчег, собирал из детдомов каждой твари по паре, и жить им теперь предстояло, как после великого потопа, на одной кавказской земле.

А ведь было, когда загорские подкарауливали дмитровских, которые к монастырю пришли попрошайничать, и свирепо их избили. Изметелили так, что те долго не показывались, зализывали раны. А потом изловили кого-то из загорских, захавших в Дмитров к родне, и месяц продержали в холодной брошенной церкви, сыром склепе. Те не остались в долгу — выловили дмитровского в электричке и к кресту на кладбище на ночь привязали: орал как резаный! Но кто ночью придет на кладбище, да на такой крик!.. Наоборот, прохожие бежали подальше.

Бывали шутки и похлеще между колониями и детдомами разных подмосковных городков, и стычки ножевые, и засады, и осады самих детдомов...

А теперь вот всех, всех совместно жизнь-злодейка свела. Будто несовместимые химические реактивы в одной колбе — поезде. Такая бурная реакция произошла, что казалось — эшелон раньше срока разлетится вдребезги!

Слава богу, что у него не один, много вагонов!

Смешивалось не сразу, а полегоньку, так бы не одно железо не выдержало. Потасовки кой-где произошли, и кто-то, правда, дорогой сбежал в другой вагон, а то и на другой поезд... Не без этого.

К ночи состав стал затихать. Его набили доверху, как коробочку. Каждому из прибывших надо было не только чужих освистать, но и о себе подумать: найти полку, оттереть, отпихнуть соседа, воткнуться так, чтобы можно было сидеть, а лучше того — лежать.

Как и сделали наши Кузьмёныши.

Внизу, под их полками, тоже шла обычная свара. Кто-то кого-то не пускал, отталкивал, спихивал, изгонял... Поднимался крик, вмешивались взрослые.

Постепенно улеглось.

Разместили на одну нижнюю полку по двое, вальтом, заполнили на ночь и место на полу, в коридоре и между полок.

Кузьмёныши, заняв третьи полки, не прогадали. Сюда никто не лез — высоко. И лезть высоко, и падать, если залезешь.

А если кто совался к братьям снизу, посмотреть, их ногами в любопытные рожи отбрыкивали. Нечего, мол, зыркать туда, куда не просят! Ничего вы тут своего не оставляли!

Возлежали, как бояре, каждый отдельно на третьей полке и с высоты своего положения, будто в кино, наблюдали, что происходит внизу.

Разговорчики, смешки, анекдотики... Кто-то песенку запел: «На Кавказских на горах жил задрипанный монах, он там золото искал, никого не подпускал, вот он золото нашел, продавать его пошел...»

Чем там дело у монаха с золотом да Кавказом кончилось, осталось неизвестным: вагон дернуло!

Все затихли. Слушали. Верили и не верили: неужто тронулись, поехали?

А тут, помедлив, дернул вагон еще раз, посильней, клацкнул, железом заскрежетал — и правда поехал! Это стало ясно по легкому поскрипыванию, по редким пока толчкам да перестукам.

Никто не бросился к окну наблюдать, как она, столица мира, начнет уплывать редкими огнями, демаскированная уже, в прошлое, назад, в темноту.

Да плевать всем было! И нашим героям было плевать на Москву, которая, это знали по собственной шкуре, слезам не верит!

Внизу лишь пискнули, как бы понимая, что на прощание положено ту, которой не поверят, слезу пустить.

Кто-то из девочек пропищал: жалко, мол...

— Чего жалко-то?

— Уезжать жалко.

А чего жалеть?.. Они и сами не понимают: жалко, и все тут. Вдруг не вернемся! Куда же мы не вернемся? В Москву, что ли? Хорошо будет, так, ясно, не вернемся, на хрена она нам, белокаменная, сдалась! Дома каменные — люди железные...

Господи! Да пропади пропадом, задарма, этот неудобный, невымытый, проклятый, выхолощенный войной край! Где все живут одним военным днем: купить да продать... А те, что стоят у станков да куют в выстудившихся цехах победу над врагом, они-то не только беспризорных не видят, а своих родных детишек запустили до уровня одичания: по двенадцать часов длится смена, так что спят тут же, в цехах...

Что же касается Кузьмёнышей, то нет у них на всем белом свете ни одной, ни единой кровинки близкой... Ни здесь и нигде вообще!

Друг у друга они есть — вот это будет верно.

Значит, куда бы их ни везли, дом их, их родня и их крыша — это они сами.

Обветшали, обзаплатились, ободрались, обовшивели в Подмоскowie, теперь сами будто от себя с радостью бежим. Летим в неизвестность, как семена по пустыне.

По военной — по пустыне — надо сказать.

Где-то, где-нибудь, в щелочке, трещинке, ямке случайной застрянем... А прольется ласка да внимание живой водой — прорастем.

Чахлой веточкой прорастем, былинкой, крошечной бесцветной ниточкой картофельной, да ведь и спросу-то нет. Может и не прорасти, а навсегда кануть в неизвестность. И тоже никто не спросит.

Нет — значит, не было. Значит, не надо.

Это не только о Кузьмёнышах — о каждом из тех, кто ехал в сорок четвертом году через войну, через разрушенную, еще не успевшую ожить после фашистов землю на нашем бесшабашно, безумно веселом поезде!

Некоторых я помнил по странной исключительности детской памяти не только в лицо, но и по фамилии и имени и попытался через десяток лет отыскать.

Открыточки такие желтенькие с запросом на адресные столы сотню, не меньше, разослал — и ни одна не принесла адреса. Ни одного письмеца ни от одного нашего...

И вот уж печатаюсь двадцать пять лет; а фамилии те, не скрывая, намеренно выношу в своих рассказах, в повестях, очерках, и снова — ни словечка в ответ.

Страшная мысль: неужто один я выжил изо всех? Неужто так и сгнули, затерялись? Не проросли?

Эта повесть, наверное, последний мой крик в пустоту: откликнитесь же! Нас же полтыщи в том составе было! Ну хоть еще кто-то, хоть один, может, услышит из выживших, потому что многие потом, это и на моих глазах частью было, начали пропадать, гибнуть на той, на новой земле, куда нас привезли...

Сверху стало видно, а еще более слышно, как самые запасливые полезли в карманы, в торбочки, в мешочки, загашники и извлекли оттуда съестное.

У кого морковинка, свеклочка, огурчик соленый, голова воблятья или картофелинка в печеном виде. У одного даже — каша, крутой комочек, завернутый в тряпицу... А еще — роскошь — серенький тошнотик. Из мороженных очистков их делали да отбросов.

Тошнотики, тошнотики, военные блины,  
Раз поешь тошнотики — полные штаны!



И вдруг... Кишки от этого «вдруг» зашипало! Запах ошалелый пошел, по полкам, по вагону, по поезду... И по тем самым кишкам — будто ножовкой! Колбасное мясо открыли в продолговато-овальной американской баночке с золотым отсветом!

Суки-москвичи, забрались в дома-кирпичи, жрут калачи!

Это про них, про этих вот, которые едут с тушенкой, — обнищавшее Подмоскovie в голос!

Несправедливо про всех, конечно. Да ведь со стороны, из-за лесов казалось, что тут, в столице, у товарища Сталина под боком, который с Мамлакат на коленях в книжке нарисован, жратвы-то от барского стола поболее остается! Не успели пузатые, похожие на ихнего директора всё разокрасть! Иначе откуда бы, подскажите, шепните на ушко, баночка-то колбасная, золотистое солнышко, посверкивающее внизу?

О такой колбасе наши Кузьмёныши только по рассказам и знали! Да вот еще по запаху: дважды в жизни Сашка унюхивал этот незабвенный, ни с чем не спутываемый, секущий финкой под ребро запах и по ощущению пересказывал Кольке...

Как в байке про куриную лапку... Мол, вкусна куриная-то лапка, а ты ее едал, да нет, не едал, а только видал, как наш барин едал.

Теперь оба, как в темный колодец, где поблескивало звездочкой, смотрели вниз. Да не одни братья — все небось смотрели! И слушали, и принюхивались, когда еще доведется в жизни такое почувствовать! И понюхать!

А потом, как по команде, оба брата отвернулись и поглядели друг на друга. Оба знали, кто из них о чем думает.

Сашка подумал: рот бы себе чем заткнуть, чтобы не закричать, не зареветь от голода на весь вагон! Не